



Фото:  
Георгий Гребенчиков.  
Париж. 1920-е

текст Георгий ГРЕБЕНЩИКОВ

# Вечер у Шаляпина

*Документальный очерк сибирского писателя Георгия Дмитриевича Гребенщикова (1883–1964), посвященный выдающемуся басу Фёдору Шаляпину, скромный, но неизменно ценный вклад в русскую культуру. Это одно из трех литературных произведений о Шаляпине, которые он написал в эмиграции, в Америке.*

*Произведение не публиковалось в России, в отличие от двух других — «Фёдор Шаляпин» и «Шаляпин-писатель», что хранятся в архиве Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (Барнаул) и вошли в 6-томное собрание сочинений Гребенщикова.*

*Предлагаемый очерк приоткрывает страницу жизни русского певца, знакомит с фактами его биографии. Особенно трогает пересказ автора о первой юношеской любви Шаляпина, случившейся на Кавказе, на горе Давида. Поражает мера искренности и писателя, и его героя, такт, с которым передана личная история. Совершенно иначе воспринимается человек нашего Серебряного века.*

*Несмотря на то, что в эмигрантской литературе разбросаны всего лишь осколки бывшего дореволюционного величия, современный читатель может почувствовать особенное свойство русской души, являющей нетленную связь между прошлым и настоящим. В этом залог продолжения традиции, будущего отечественной литературы. Публикация очерка приурочена к 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина и 140-летию Георгия Гребенщикова.*

19 марта 1929 года. В роскошном приемном зале одного из богатейших нью-йоркских отелей, именно в «Ансонии», что на углу Бродвея и 73-й улицы, на мой вопрос о комнатах Шаляпина управляющий гостиницей отвечает на великолепном русском языке:

— Одиннадцать сорок три. Поднимайтесь прямо.

Редкое явление — к Шаляпину без доклада. Впрочем, в ответ на мое письмо я приглашен телеграммой, и управляющий, очевидно, предупрежден. Возможно, что он знает меня в лицо. Это сын известнейшего нашего московского Филиппова.

Ровно девять часов вечера. Лифт-экспресс мгновенно и бесшумно поднимает меня на одиннадцатый этаж. Не сразу нахожу в коридорах, похожих на улицы, нужные мне двери, а когда белокурый русский парень открывает мне, я сразу узнаю ту же самую квартиру, в которой был у Фёдора Ивановича в прошлом году. Пять или шесть великолепных комнат. Кроме отворившего мне дверь, в квартире никого.

— Так что Фёдор Иванович сейчас будут.

По выговору узнаю простого черноземного русака.

— Проходите в кабинет и позвоните сами. Они гдей-то тут близко. И сказали, чтобы ежели вы придете, так чтобы позвонили.

Я позвонил. Мне ответили, что он уже вышел и сейчас будет дома. Мне стало совестно. Я ведь не ответил на его телеграмму, и он вправе был меня не дожидаться. Так было и в прошлом году: его телеграмма меня не застала в городе, и я не пришел в назначенное время. Но Фёдор Иванович входит и извиняется, что заставил ждать. Я уж молчу, но он не забыл:

— Я опять подумал: может быть, вас телеграмма не застала. Но все же поджидал, как видите.

Тогда уже я начинаю извиняться и просить прощения. Но он добр сегодня, и ни тени недовольства. Вглядываюсь в его лицо и волосы — лицо несколько не переменялось, а в белокурых волосах пепельного цвета прибавилось. Он так же прям, высок и строен и так же молодецки поворотлив на ноге. Поворачиваясь или шагая по ковру, он как-то так выразительно разводит руками — одну вверх, другую вниз, или обе в карманы брюк, или одну в карман жилета, а другую — в карман пиджака за носовым платком, что эти руки заменяют те слова, которых сразу он не успел еще найти. Сказано всего два-три слова, а шаги и несколько движений рассказали целую поэму.

— Уезжаю я двадцать второго и совершенно внезапно. Пойдемте в столовую — там как-то светлее, что ли. Михайла! Неси-ка нам чайку и что-нибудь там... Да, да. Радуюсь я, знаете, когда бываю в Америке, а когда уезжаю, то еще больше радуюсь. Вот сейчас они тут со мной переговоры ведут. Мучительная это штука — с ними об искусстве говорить. Играть я должен в драме, для говорящей фильмы. Ну, очевидно, сочинят все там по-своему и так, чтоб и язык мой иностранный подходил и чтобы, понимаете...

Комбинация движений рук и пальцев, и бровей, и глаз такая, что словами, даже шаляпинскими, не выразишь.

— Требуют, чтобы я им обещание на следующую картину подписал. Этого я не могу. Может, я вам не сумею и в этой-то понравиться. А если выйдет хорошо, тогда, может быть, я сам вам предложение сделаю. А не подходит вам мое условие — мне и так хорошо. Не надо мне ваших ни сотен тысяч и ни миллионов. Ничего не надо. Я так счастлив, так счастлив, — повторил он, но в глазах задумчивость и даже грусть, и руки протягиваются куда-то вперед и ввысь и пальцы их слегка вибрируют в каком-то как бы мистическом экстазе, совершенно далеком от всего того, о чем он только что говорил.

Михайла подал чайник вместо самовара и поставил на стол посуду.

— Михайла! Ты нам принеси там этой колбасы и хлеба черного. Я сейчас обедал, а перед этим хлебом не устою. В Бостоне случайно отыскал, чудесный, ну настоящий русский хлеб — русские евреи пекут. Здесь такого нету.

— Есть! — Осведомляю я, но Фёдор Иванович возражает:

— Нет, уж это как хотите, но здесь такого нет. Я тут тоже искал.

Оба хорошо и недавно пообедавшие, мы начинаем пить чай с черным хлебом, с маслом, с молоком и с твердой копченой хорошей колбасой. Я придумываю такие вопросы, чтобы как-нибудь навести его на рассказы о себе. Конечно, у меня и намека нет на намерение что-либо записывать при нем, поэтому, чтобы не выдать своего коварного намерения, я начинаю с косвенных вопросов.

— Летом, вероятно, будете в Лондоне? Скажите, Фёдор Иванович, как вы находите англичан в сравнении с американцами?

— Они неохотно к себе допускают иностранцев. Но уж если допустили — совершенно их нельзя узнать. Тогда они делаются простыми, веселыми, гостеприимными. Очень хорошие люди. А так, пока чужие, — с ними очень трудно. Вы меня, пожалуйста, простите — я не умею хозяйничать, а Марьи дома нет. (Марии Валентиновны — супруги Фёдора Ивановича.) А почему я не умею угощать? Да потому что я ведь сам всегда в гостях и привык к тому, что меня все угощают. Вот и дома я, а мне кажется, что — в гостях.

И все-таки он начинает наливать мне чай, широким жестом показывает на хлеб, масло и на колбасу. Однако я не забываю, что он предоставил мне у себя целый вечер, надо же его послушать. Это ведь редчайшее наслаждение — его послушать!

— Да, вот если бы они по-настоящему искусство понимали и ценили, можно было бы чудеса творить с кинематографом. Ведь вы подумайте: Мефистофеля-то они могут как-то там через стекла увеличить до гигантских размеров! И Мефистофель может, понимаете, ходить по облакам. Ведь это что такое! И при этом еще может сам прямо с экрана петь. Замечательная штука!

Речь Фёдора Ивановича делается тверже, медлительнее, жесты шире и скульптурнее.

— Конечно, спеть им Мефистофеля, может быть, кто-нибудь споет и лучше меня, но слепить его... — И руки Шаляпина лепят мгновенно и неподражаемо. — Нет, кроме меня, слепить Мефистофеля, извините,



некому. Это уж я не постыжусь сказать прямо. Скромность тут была бы фальшивой.

Он заволновался, стал розовым, должно быть, все-таки от застенчивости, что так у него вырвалось. Мне же это как раз было по душе, и я воспользовался случаем, чтобы переменить тему беседы. Что-то сказалось как раз к случаю, но вышло о другом: о таланте человека как о движущей силе, которая есть часть чего-то единого, как понятие о Боге, но не о таком, как Его привыкли представлять себе люди. Я привел один коротенький случай из жизни, Фёдор Иванович подхватил. И с этого момента я слышал только его голос.

— Вот и сам я часто становлюсь в тупик. Конечно, можно там провозглашать высокие доктрины и идеалы и равноправие. Но скажите: сто пятьдесят миллионов народа могут быть поголовно Сократами или Микельбанжелами? Вот были такие великие идеалисты и учителя, как Будда, Конфуций, Христос, но многие ли им уподобились? Я тоже бы хотел хоть в немногом последовать за ними, но идти на гору трудно. Я вот, например, иду, иду и вспотею. Присядешь отдохнуть, приходят другие мысли, а там покушал да и заснул. Идеал-то и позабыл. А как же тем, кто даже и грамоты не знает, как же с них-то требовать, чтобы они все сделали Сократами? А как им можно запретить по-своему во что-то веровать или молиться? Вот я, быть может, самый неверующий, а иногда иду мимо церкви и зайду. Когда в ней никого нет, встану на колени и, не зная, к кому обращаться, говорю: «Господи! Есть Ты там или нету Тебя, но я очень счастлив и мне некого поблагодарить. Прими, ибо я счастлив только от одного сознания, что существую».

— Как-то еще в молодости во Владимирской губернии мы странствовали с Коровиным, и еще такой был Внуков. Он замечателен тем, что был носителем этакого интеллекта, был нигилист и умник и имел способность по-особенному моргать глазами. Веки его захлопывались не сверху вниз, как у всех, а снизу вверх.

Шаляпин пытается показать, и это ему удается. Я начинаю хохотать, а он встает из-за стола и продолжает рассказывать.

— Зашли мы в питейное заведение на самом краю села. Кабатчик этакий зверь, в красной рубашке и жилетке, с огромной черной бородой. Стоит за прилавком

прочно и смотрит мимо мужичонки, этакого мозгляка. Худой и тонкий, бороденка разного цвета, пожалуй, даже без всякого цвета, но вся растет клочками в разные стороны, а ноги в «бутылках».

Шаляпин делает при этом из одной руки бутылку, а палец другой вставляет в нее и расшатывает, как пестик в большой ступе.

— Ножонки, знаете, такие худущие, но он крутится перед целовальником, и подтанцовывает в корчах возмущения, и пищит: «Шашнадцать-то с полтинником яму, Николаю-то, отдай за полдуши, а што с явото узять? А на войне-та за яво с японцем-то опять же живот-то положи. А? И деж тут правда, а?» И все это он бороденкой своей тычется туда-сюда, и все пристает к целовальнику, а ножонки-то у него в бутылках шатаются, как палки, но целовальник молча мимо него смотрит и не слушает. А тот все больше куражится над Николаем, повторяя все одно и то же: «Шашнадцать-то, значит, с полтиной яму отдай да и живот за яво на Дальнем-то клади, а с яво-то што узять?»

Когда это передает Фёдор Иванович, он и ростом делается как бы точно такой же, и одежонку мужика вы видите на нем, и голос мужичонки с хрипотой вы слышите.

— Но вот на сцену тут же появляется духовное лицо. Тут, видите ли, сидел в углу, должно быть, дьякон. Сидел и пил из чайника. Неудобно же духовному лицу пить прямо из бутылки. И вдруг он встал и заходил по кабаку.

Шаляпин превращается в диакона, который не выдерживает оскорбления Величества. Из двух-трех движений руками, после трех шагов по комнате — на нем и обвисшая ряса с широкими рукавами, и длинные жиденькие волосы. И совершенно неподражаемая дьяконская речь: «А кто тя создал-то? Кто тебя, голова, сотворил-то? Бог-то у те где-кась? Где у тебя Бог-то, коли ты такое изрыкаешь?»

— А тут как раз и Внуков выступает. Глаза снизу вверх захлопнул и заговорил по специальности: «Бога никакого нет, а человек произошел от обезьяны». И вдруг дьякон скрюченной такой коброй подлетает к Внукову и полушепотом: «А обезьяну-то, а обезьяну-то кто сотворил?» И так как Внуков не успел ответить, то дьякон торжествующе скривил лицо и даже прищелкнул языком: «Ага! Вот то-то же!»

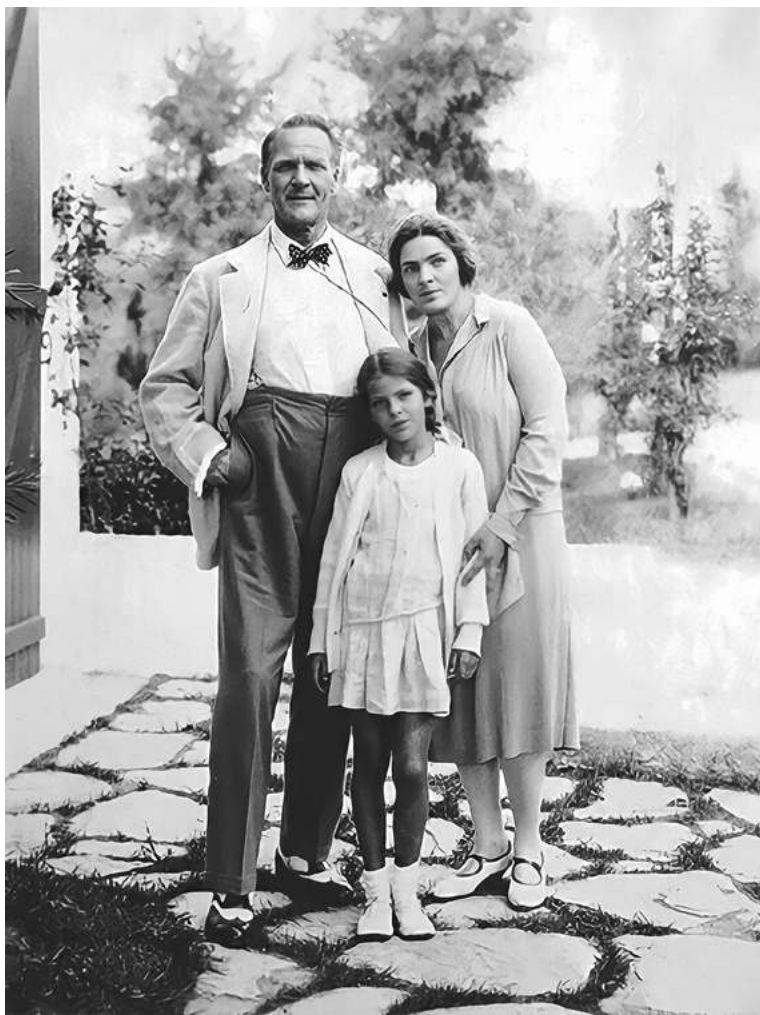
Шаляпин перевел дух и вздохнул со стоном.

— Иногда после подобных сцен делается не смешно, а грустно и за самого себя. Есть какая-то в человеке искра, может быть, она и в самом деле — Божия. Однажды в Москве после хорошего ужина с приятелями, где по счету заплатил сто рублей или больше, еду я на извозчике, с которым долго перед этим торговался из-за тридцати копеек. Отходил от него, грозил, что возьму другого, ругался. И вот вспомнил, что в ресторане заплатил сто рублей и даже на чай дал щедро. Чего же это я с извозчиком так торговался? Господи, а вдруг кто-нибудь видел. Какой же я...

Тут Фёдор Иванович обозвал себя двумя словами, которых я не хочу здесь повторять...

— И вдруг, представьте вы себе, нашел ведь оправдание. Ведь что такое для меня сто рублей, когда я их добываю тоже сотнями и совсем легко? А вот когда я считаю часть рубля — копейки, то вспоминаю время, когда добывал рубли. О, да, рублю я знаю цену. Это вещь, да еще ежели серебряный. Ведь зубом не раскусишь. А что такое сторублевая бумажка?

Опять вздохнул, прошелся по комнате и круто повернулся на каблуках.



**Фёдор Шаляпин, Мария Петцольд и дочь Дасия.**

*Фото из сети Интернет*

— Сегодня со мною было тоже приключение. Это все грехи следом гонятся. Иду я по Пятому Авеню. Смо-  
трю — в окне, для рекламы, что ли, зайчики играют. Конечно, публика останавливается, смотрят, улыбаются. Забавно: редкое зрелище — зайчики на витрине. Около меня дама смотрит на меня и улыбается.

Он представляет сцену безмолвной беседы с дамой по поводу зайчат.

— Наконец, она мне говорит: «Мне лицо ваше знакомо». Ну, что же, может быть и знакомо, но я не вступил в беседу и пошел. Позвал такси и уже сел в автомобиль. Однако мой шофер оглядывается и не трогается с места. В чем дело? Он показывает назад и говорит: «Леди вас желает видеть». Я поворачиваюсь: она, та дама, что стояла рядом у витрины. Прежде всего, спрашивает: на каком языке мне легче с нею объясниться — на английском или на французском? Я выбираю французский. Тогда она мне говорит: «А помните 40-е Коперник?» — «Боже мой! Неужели это вы?» — Да, это оказалась та, которой ровно тридцать два года назад в Париже я был и восхищен, и покорен.

И Фёдор Иванович бегло рассказывает о своих сильных впечатлениях в первый приезд в Париж.

— Привел я ее сюда, представил Марье Валентиновне. Вот сегодня здесь сидели, вспоминали былое. Как она на прощанье на вокзале при других переконфузила меня тем, что стала целовать мне руки. Очень

мне было тогда стыдно и как-то... Ведь я тогда только-только превращался из архиерейского певчего... Да. Гречанка она была, а теперь вот здесь — богатая американка.

И он продекламировал: «Когда легковосприимчив и молод я был — младую гречанку я страстно любил».

— А вот сейчас вспомнил еще одну, еще более раннюю историю. Было это в Тифлисе, когда я за уроки пения имел вроде стипендии при клубе и играл в малороссийской труппе. Мне было восемнадцать лет, но у меня под курточкой рубашки не было, и вообще ничего там не было. Ставили мы «Наталку Полтавку», и Наталку эту играла такая славная, лет тридцати, молодница. Все у нее было так закончено, округлено, и была она собою очень хороша. И вот на репетициях я должен был по сцене ее обнимать. Но у меня не хватало смелости. Что-то такое, робость какая-то удерживала. А она недовольна. Что же, говорит, вы должны меня обнимать. Иначе сцена моя пропадает. И вот я обнял ее по-настоящему, а она такая вся, понимаете ли, без корсета и вообще горячая. Заволновала. А тут ночи дивные, весна, и звезды на небе, и тишина. Пошли мы с нею на гору Давида. Там монастырь, и звезды эти самые еще как-то ближе. Ну, что тут делать, а она говорит: «Клянись, что всю жизнь будешь любить». Поклялся...

Фёдор Иванович сказал это с какой-то виноватой покорностью и замолчал.

— Потом в шестнадцатом году в Москве после спектакля я запоздал в Большом театре. Выхожу и решил почему-то пройтись пешком, хотя ночь была отвратительная, туман с дождем и ветер. Фонарь еле маячит каким-то мутным пятном. Смотрю: у фонаря простая женщина в платочке. Думаю, бездомная или несчастная. Подходит и спрашивает: «Не узнаете?» — «Нет, не узнаю!» — «А помните гору Давида»? Передо мной была почти старушка, бледная, больная. Взял я ее, привез к Марье Валентиновне. Потом устроил в хорошую больницу, она поправилась, а потом куда-то скрылась, и я не мог найти ее.

На этот раз мы долго молчали. В этом осеннем приходе к тусклому фонарю и в уходе без следа было нечто более значительное и глубокое, нежели простая драма.

Было уже одиннадцать часов. Из театра вернулась Мария Валентиновна с сыном. Она еще очень свежа, стройна, красива, хотя и чрезмерно бледна. С ней ее сын, лет двадцати, от первого мужа, цветущий, сияющий и красивый молодой человек. Оказывается, они смотрели модную и глупейшую комедию «Вупи» с участием знаменитого еврейского комика Эдди Кантора. Мария Валентиновна начинает своим прекрасным низким голосом рассказывать о пьесе.

— Я чуть не умерла от смеха. Но и неприлично. Они все ищут друг у друга аппендицит. Кто бы ни пришел, они лезут прямо под рубашку, оттягивают пояс брюк и заглядывают. Затем начинают под рубашкой аппендикс этот измерять у каждого. И все это с серьезными и необыкновенно изумленными лицами. Ужасно неприлично! И смешно. Я не могу прийти в себя — так смеялась!

Я смотрю на лицо Фёдора Ивановича. Оно совсем по-детски улыбается. И видно, что он жалеет, что не видел пьесы и не посмеялся. Это я лишил его этого удовольствия. Но вместе с тем в лице его какая-то тишина, как будто продолжение той, когда он был на горе Давида и под покровом звездной ночи клялся любить первую на заре его жизни женщину всю жизнь.

Начало двенадцатого. Решаю, что пора уходить. Но на прощанье затрагиваю самое его любимое: спрашиваю о его шестилетней дочке. Он сразу просиял. Как же, конечно, она говорит по-русски, но пишет ему письма из Парижа только по-французски.

— Уже скоро два года, как я рассказываю ей все одну и ту же сказку. Теперь она меня ждет в Париже с предложением. Теперь уже ученый эскимос Ракита должен заморозить на дальнем Севере всех трех ужасных колдунов. Уж очень много они натворили бед. Она и сама мне говорит: «Прикончи ты их, папа!» Но все-таки мы с ней согласились, что нельзя их прикончить, потому что три южных колдуна уже спешат спасти их и предостоят так много интересных приключений.

На этом мы пока расстались до августа, когда по возвращении в Америку Фёдор Иванович собирается побывать в нашей Чураевке и там, среди берез и кипарисов, в природе, где встречаются два климата — северный и южный, под шум каскадов Помпепага он, вероятно, расскажет нам много интересного из своих необычных приключений.

А пока я поспешил уйти, чтобы скорее записать все как можно более точно, и хотя не смог запомнить всех особенностей его красочного языка, но саму подлинность рассказов удостоверяю. Быть может, кое-что не успел точно запомнить. Но, решивши опубликовать эту часть беседы целиком, знаю, что не должен был бы делать этого без разрешения самого рассказчика.

Однако хочу взять на себя ответственность перед ним, ибо слишком драгоценно все услышанное. Ведь такое богатство красок, движений, событий, драм и какой-то изумительной нежности и простоты могут дать или просыпаться мимоходом только многосторонний и не превзойденный никем художник и творец и исключительный герой России — Фёдор Иванович Шаляпин. И я так счастлив, что мне удастся хоть частично заносить в историю отечественной хроники некоторые черты из его жизни!

А самая главная радость в том, что еще раз мы можем видеть исключительное разнообразие наших творческих сил. Это должно нас все время утешать в лишениях и двигать в минуты неподвижности или усталости вперед, к нашему неслыханно-прекрасному грядущему, которое теперь строится и в самой России, и во всех странах мира, где только существуют русские. А они, несмотря на свои скорби, а может быть — именно благодаря им, всюду действуют и так или иначе укрепляют победную поступь могучей народной российской культуры. Только бы почаще русские об этом думали и крепче берегли бы русское достоинство. Это всем и всякому помогло бы многое преодолеть и ускорить шаг к созидательному единению культурных сил, независимо от того, где они и под какими флагами идут или работают.

Пора. И уже должно быть стыдно разгораживаться истрепанными, сеющими только рознь и злобу расовыми, национальными, религиозными и, в особенности, политическими ширмами.

Шаляпин в этом отношении — образцовый деятель, оттого что он наслаждается своим искусством всех, без разделения на расы или на политические партии. От этого он не перестал быть русским, и все и всюду его любят, за исключением, конечно, очень ограниченных людей. Но для украшения имени России он самый убедительный посланник во все края земли.

*Предисловие и публикация*

*Владимира Росова*